

СИМОНА ДЕ БОВУАР

КРОВЬ
ДРУГИХ

Издательство «Азбука»
Санкт-Петербург

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)-44
Б 72

Simone de Beauvoir
LE SANG DES AUTRES
Copyright © Éditions Gallimard, Paris, 1945
Перевод с французского Ирины Волевич
Оформление обложки Татьяны Павловой

Бовуар С. де

Б 72 Кровь других : роман / Симона де Бовуар ; пер. с фр. И. Волевич. — СПб. : Азбука, Издательство АЗБУКА, 2026. — 384 с. — (Большой роман).

ISBN 978-5-389-30192-4

Элен живет в Париже, работает в кондитерской лавке. Ее парень Поль увлечен политикой: демонстрациями, борьбой, мировыми новостями. Он ведет полноценную жизнь, в отличие от Элен, которой остается лишь мечтать и грезить в ожидании чего-то настоящего. Все меняется, когда Элен встречает Жана, — теперь она готова вручить свое сердце, раствориться без остатка в любимом мужчине. Однако кажется, что ее любовь ему вовсе не нужна... Лишь когда начинается война и Францию захватывают фашистские войска, когда оставаться в стороне от событий больше нельзя, у Элен наконец появляется возможность доказать свою искреннюю любовь и завоевать ответное чувство.

Роман «Кровь других», частично основанный на реальных событиях, был впервые опубликован в 1945 году и принес Симоне де Бовуар громкий успех. В 1984 году «Кровь других» экранизировал известный французский режиссер Клод Шаброль, главную роль в картине исполнила Джоди Фостер.

Впервые на русском!

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)-44

© И. Я. Волевич, перевод, 2025
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательство АЗБУКА», 2025
Издательство Азбука®

ISBN 978-5-389-30192-4

Каждый человек отвечает за все перед всеми.

Достоевский

Глава I

Он распахнул дверь, и на него обратились все взгляды.

— Чего вы от меня хотите? — спросил он.

Лоран сидел перед камином, верхом на стуле, лицом к спинке и к огню.

— Мне нужно знать, решено что-нибудь насчет завтрашнего утра или нет, — сказал Лоран.

Завтра... Он оглядел комнату. Здесь пахло стиркой и капустным супом. Мадлен курила, поставив локти на стол. Дениза сидела перед раскрытой книгой. И все — живые. Для них эта ночь придет к концу, а за ней начнется рассвет.

Лоран взглянул на него.

— Ждать больше нельзя, — тихо сказал он. — Я должен ехать туда в восемь часов, если уж ехать.

Он говорил мягко, словно обращался к больному.

— Естественно.

Он знал, что нужно ответить, но ответить не мог.

— Слушай, зайди ко мне, когда проснешься, просто стукни в дверь, ладно? Мне нужно еще поразмыслить.

— Ладно. Я постучусь часов в шесть, — ответил Лоран.

— Как она там? — спросила Дениза.

— Сейчас заснула, — ответил он.

И направился к двери.

— Позови меня, если что-то понадобится, — сказала Мадлен. — Лоран сейчас пойдет спать, но мы будем сидеть тут всю ночь.

— Спасибо.

Он толчком открыл дверь. Решиться... Ее глаза закрыты, изо рта вырывается хрип, простыня вздымается на груди и опадает; вздымается слишком высоко — это жизнь силится стать видимой, стать слышимой; она борется, но угасает, она угаснет на рассвете... Из-за меня... Сперва Жак, а теперь вот Элен. Потому что я ее не любил и потому что любил ее; потому что она стала слишком близкой и потому что была так далека от меня. Потому что я существую.

Я существую, а она — свободная, одинокая, вечная — вдруг оказалась подвластной моему существованию, не способной уберечься от безжалостного факта моего существования, подчиненного бездушному ритму своих шестеренок, и в конце этой безжалостной цепи получила удар в самое сердце, удар слепой стали, бездушного металла, моего присутствия, смерти — незримой, неизбежной, беспричинной... Потому что я был там. Лучше бы меня там не было. Но вот случилось: сперва Жак, а теперь она — Элен...

Там, на улице, ночь — без фонарей, без звезд, без голосов. Только что прошел патруль. И теперь там

никого. Улицы опустели. Перед министерствами и дорогами отелями несут стражу часовые. Около них ничего не происходит.

А вот здесь и сейчас кое-что происходит: она умирает.

«Сперва Жак...» Опять эти скомканные слова... В медленном истечении ночи первородный грех разворачивает сквозь другие слова и промелькнувшие образы свою историю. Он принял особую видимость — видимость банального происшествия... Как будто тут были возможны варианты; как будто с первой же минуты моего рождения все не было predetermined; исконная мерзость, скрытая в недрах любой человеческой судьбы.

Вот она вся — полностью заданная при моем рождении и полностью представленная в запахе и полумраке этой комнаты, где царит агония, готовая прерваться каждое мгновение, перейдя в вечность. Сегодня, как и во всякое иное время, я нахожусь здесь. Я всегда находился здесь. Но прежде время не существовало. А с того мига, когда оно начало свой ход, я был и буду здесь всегда, даже после собственной смерти.

И верно — он всегда был здесь, но сперва не знал об этом. А теперь я вижу его: вот он нагнулся, глядя в окно галереи. Но он еще не знал. Ему казалось, что на свете существует только один мир. И он смотрел на грязные окна, откуда поднимались запахи типографской краски и пыль, запахи работы других людей; здесь, наверху, солнце затопляло комнату, обставленную старинной дубовой мебелью, а тем временем люди там, внизу, целый день зады-

хались под монотонный рокот типографских станков, в тусклом свете ламп под зелеными колпачками. Иногда он убегал. А иногда, напротив, долго стоял неподвижно, позволяя угрызениям совести проникать в него — через глаза, через уши, через ноздри. На уровне мостовой, за грязными окнами, царила стылая тоска; а здесь, наверху, в длинной светлой зале, угрызения совести испарялись — незаметно, словно прозрачные завитки сладкого дыма. Он не знал, что из окошек нижнего помещения рабочие могли видеть его свежее гладкое личико ребенка из богатой семьи.

Голубой ковер так приятно грел детскую щечку; из кухни, с ее медной начищенной утварью, струились приятные запахи растопленного сала и карамели; в гостиной тихо шелестели голоса. И все-таки в ароматах летних цветов, в потрескивающих языках каминного огня мягкой зимней порой в воздухе неустанно витали угрызения совести. Их оставляли дома, отправляясь куда-нибудь на каникулы, и тогда вдали, без них, в небе мерцали звезды, и яблоки хрустели на зубах, и вода приятно холодила голые ноги. Но стоило вернуться домой, в квартиру, сохранившую свои запахи под белыми мебельными чехлами; стоило расправить и встряхнуть оконные шторы, пропахшие нафталином, как оно тут же возвращалось — это ощущение, упрямое, неизменное. Времена года проходили, одно за другим, пейзажи менялись, в книгах с позолоченными переплетами разворачивались новые приключения. Но ничто не могло нарушить мерный рокот типографских станков.

Запах с темного нижнего этажа проникал во весь дом. «Когда-нибудь это будет твой дом». На фасаде красовались выбитые в камне слова: «Бломар и сын, печатники». Его отец мерным, уверенным шагом поднимался из цехов наверх, в просторную квартиру, спокойно вдыхая затхлый воздух на лестнице. Элизабет и Сюзон также ничего не подозревали; они развешивали гравюры на стенах своих спален, раскладывали подушечки на диванах-кроватях. А вот его мать все знала — он был в этом уверен, — и это болезненное чувство вины, омрачавшее сияние самых прекрасных дней, завладевало ею, проникая между навощенными паркетинами, сквозь шелковые занавеси и дорогие шерстяные ковры.

Возможно, это чувство подстерегало ее где-нибудь еще, в других, незнакомых обстоятельствах, и она всегда уносила его с собой, под меховыми манта, под платьями с блестками, тесно облегавшими ее пухлую невысокую фигурку. И, несомненно, по этой же причине она всегда выглядела какой-то пристыженной, говорила с прислугой и поставщиками извиняющимся тоном; даже ходила мелкими, торопливыми шажками, сутулясь, словно желая занимать в пространстве как можно меньше места. Ему очень хотелось порасспрашивать ее, но он не знал, с какими словами к ней приступить; как-то раз он попробовал было заговорить с ней о людях в печатне — там, внизу, — но она торопливо ответила, стараясь говорить беззаботным тоном: «Да нет же, они вовсе не страдают, они привыкли. И потом, в жизни всем нам приходится делать что-то неприятное».

Большого он от нее и не ждал: то, что она говорила, было не так уж важно; ему всегда казалось, что она говорит для какого-то неведомого, но могущественного, дотошного свидетеля, которого ни в коем случае нельзя обидеть. Однако глядя, как она старательно выкраивает для ребенка своей кухарки одежды, которые вполне могла бы купить в любом дешевом магазине; как проводит ночи, исправляя неумелую штопку белья, сделанную ее горничной, он убеждался, что понимает ее. «Но это же глупо, зачем она этим занимается?!» — высокомерно говорили Сюзон и Элизабет. А она даже не пыталась оправдываться и с утра до вечера бегала туда-сюда, и хлопотала, и целыми часами катала в инвалидном кресле их старую парализованную гувернантку или объяснялась жестами со своей глухой кузиной. Она не любила ни старую гувернантку, ни эту кузину и хлопотала вовсе не ради них самих — просто старалась заглушить безрадостный запах, проникавший снизу в их квартиру.

Иногда она водила Жана к *своим беднякам*; это бывало на Рождество или когда устраивались чаепития для детишек, тщательно умытых по такому случаю; они вежливо благодарили за красивого плюшевого мишку или за новый чистый фартучек и вовсе не выглядели несчастными. Даже нищие в лохмотьях, сидевшие на обочинах тротуаров, не казались страшными, несмотря на их бельма, или култышки, или жестяные дудки, в которые они дули не ртом, а носом; они выглядели на этих улицах так же естественно, как, например, верблюды в пустыне или косы у китайцев. И все истории, ко-

торые ему рассказывали о поэтических бродягах или о трогательных маленьких сиротках, всегда заканчивались слезами радости, объятиями, свежим бельем и румяными хлебцами. Нищета существовала лишь для того, чтобы утешать нищих, чтобы позволять богатым деткам подавать милостыню обездоленным, чтобы доставлять богатым мальчикам удовольствие от раздачи подарков, — она не стесняла Жана. Однако было во всем этом и нечто другое — то, о чем не рассказывалось в книжках с позолоченными переплетами, то, о чем не говорила мадам Бломар; вполне возможно, что на это *другое* был наложен запрет.

Мне было восемь лет, когда мое сердце впервые подверглось мрачному испытанию. Я читал, сидя на галерее; моя мать вернулась домой с лицом, которое мы часто видели у нее, — на нем были написаны упрек и извинение; она сказала: «Малыш Луизы умер».

Я вспоминаю кривую лестницу и вымощенный плиткой коридор, куда выходило множество совершенно одинаковых дверей; мама рассказывала нам, что за каждой дверью есть комната, в которой обитает целая семья. Мы вошли в одну из них. Луиза обняла меня; у нее были какие-то обвислые мокрые щеки; мама села рядом с ней на кровать и полушепотом заговорила о чем-то. В ивовой люльке лежал младенец с бледным личиком и закрытыми глазками. Я посмотрел на красный плиточный пол, на голые стены, на керосинку и разревелся. Я плакал, а мама все говорила и говорила, но ребенок по-прежнему был мертвым. Я, конечно, мог вытрях-

нуть все деньги из своей копилки, а мама могла сидеть тут долгими ночами, но он все равно был бы мертвым...

— Да что это с мальчишкой? — спросил отец.

— Он был со мной у Луизы, — ответила мама. Она уже все рассказала, но теперь снова пыталась приобщить нас к случившемуся, повторяя эти жуткие слова: менингит, страшная бессонная ночь, а к утру — маленькое застывшее тельце. Папа слушал ее и ел свой суп. А я не мог сделать ни глотка. Там, за той дверью, плакала Луиза, она тоже не ела, ведь теперь никто не вернет ей ребенка, никогда не вернет, и ничто в мире не утешит ее в этом горе, в этом несчастье, омрачившем весь мир.

— Да ешь же наконец свой суп! — прикрикнул отец. — Смотри, все уже с ним покончили.

— Мне не хочется есть.

— Ну-ну, постарайся, милый, — сказала мама.

Я поднес ложку к губам, но тут же опустил ее в тарелку: к горлу подступила тошнота.

— Не могу!

— Послушай, — сказал отец. — То, что у Луизы умер малыш, конечно, очень грустно, я и сам ей сочувствую. Но мы ведь не можем оплакивать его всю жизнь. Так что давай-ка соберись и ешь поскорее.

И я поел. Суровый отцовский голос в один миг растопил комок, стоявший у меня в горле. Я чувствовал, как теплая жидкость стекает в желудок, — отвратная, еще более зловонная, чем едкие запахи печатного цеха. И все же тиски слегка разжались. Не на всю жизнь, конечно. *Только на эту ночь до рассвета и, может быть, еще на несколько дней. Но*

не на всю жизнь. В конце концов, это его беда, а не наша. Это его смерть. Они положили его на скамью как есть, с разорванным воротом и запекшейся кровью на лице — с его кровью, не моей. «Я никогда не забуду». Марсель тоже выкрикнул это, только про себя, в душе. «Никогда уже больше не будет этой головки, этой лошадки, этого маленького послушного существа. И никогда уже не будет твоего смеха, твоих живых глаз!» И ее смерть в глубине наших жизней, такая мирная и чужая... А мы, живые, будем ее вспоминать; будем жить воспоминаниями о ней, тогда как она уже не существует, тогда как она никогда не существовала для него — того, кто мертв. Но не всю нашу жизнь. Даже не несколько дней. Даже не минуту. Ты одна на этой кровати, а я могу только слушать этот хрип, вырывающийся из твоих уст; хрип, который ты сама уже не слышишь.

Тогда он все же съел и суп, и все остальное. А потом залез под рояль и притаился там. Люстра сияла всеми своими огнями; засахаренные фрукты в панцире сладкой корочки мерцали в вазе, и красивые дамы, нежные и румяные, как птифуры, улыбались ему. А он смотрел на мать — она совсем не походила на этих благоуханных фей; скромное декольте черного платья только чуточку приоткрывало ее плечи; ее волосы, перехваченные черной, под цвет платья, муаровой лентой, обрамляли щеки; однако при взгляде на нее почему-то не хотелось думать ни о цветах, ни о пышных пирожных, ни о ракушках и голубоватой гальке на морском берегу.

Присутствие... простое человеческое присутствие. Она сновала по гостиной, взад-вперед, в своих крошечных атласных туфельках на слишком высоких каблуках; сновала и улыбалась. Да, улыбалась. А ведь совсем недавно он видел ее сокрушенное лицо, слышал ее тихий, сочувственный голос, утешавший Луизу, а теперь... теперь этот смех! Значит, в жизни есть не только горе? И он стал яростно терзать ковер. Ребенок Луизы умер. Он силился вызвать в памяти этот образ: Луиза, сидевшая на краешке кровати, в слезах. Сам он больше не плакал. Хуже того: сквозь этот застывший в его памяти образ он следил теперь за платьями — сиреневыми, зелеными, розовыми, — и в нем возникали прежние желания: впиться зубами в эти пухлые плечи, зарыться лицом в эти пышно взбитые волосы, скомкать, как лепестки, эти воздушные шелка. Ребенок Луизы умер. Все тщетно. Но это не моя беда. *Не моя смерть. Я закрываю глаза, я не двигаюсь, но вспоминаю именно о себе, и его смерть входит в мою жизнь, а я не могу войти в его смерть.* Поэтому в тот вечер я забрался под рояль и только позже, в постели, плакал, пока не заснул, из-за того непонятного ощущения, что проникло ко мне в горло вместе с теплым супом, вместе с сознанием еще более жгучим, чем угрызения совести, — сознанием своей вины. Да, вины — потому что я улыбался, пока Луиза — там, внизу — плакала; потому что мои слезы были не такими жгучими, как ее. Потому что я был *другим*.

Однако он был еще слишком мал, чтобы понять. Ему казалось, что чувство вины вошло в него не-

ожиданно, нечаянно, как будто его пальцы, стиснутые в кулак, вдруг разжались, как будто вдруг разжалось горло. Он не подозревал, что эта вина растворена в воздухе, наполнявшем его легкие, в крови, текущей в его венах, в самом тепле его жизни. Он думал, что если сильно постараться, то можно никогда больше не ощутить этот мерзкий вкус. И он старался, он прилежно сидел за школьной партой, где его наивный взгляд скользил по гладкой странице, не знавшей никакого прошлого, светлой, как будущее. *Чистый лист, чистый холст, чистая и ледяная земля, мерцающая сквозь грядущие революции. Марсель бросил кисть; на лице Жака кровь — та кровь, что кипит в каждой капле, которую мы сберегли, и в каждой капле, которую пролили. Твоя кровь. Красная — на комке белой ваты, на бинтах, в твоих вздутых и таких ленивых венах; густая тяжелая кровь. «Эту ночь она не переживет!» Ни цветов, ни гроба: мы спрячем тебя в земле.* Эта грязь на моих руках, эта грязь на наших душах... кто бы мог подумать?! Ему была неведома тяжесть собственного присутствия. Прозрачный и белый перед белой страницей, он улыбался своему прекрасному разумному будущему.

Вот и она говорила так разумно, словно никогда не делала этих судорожных жестов, никогда не ходила этими мелкими, опасливыми шагжками. Она утверждала, что нищета и рабство, армии и войны, а также душераздирающие страсти и мрачные недоумения — всего лишь плоды глупости, крошечной человеческой глупости. Стоит людям захотеть, и все будет совсем иначе. И я возмущался людским

неразумием; я воображал, что нам следовало бы взяться за руки и пройти по городу; она семенила бы в своих туфельках на каблучках, а я тащил бы ее вперед, за собой, с неукротимым детским пылом; мы останавливали бы прохожих на площадях, мы входили бы в кафе и выступали с речами перед народом.

И это вовсе не казалось мне безнадежным делом. На одной крытой улочке Севильи, в то знаменитое паническое утро 1936 года¹, люди внезапно обратились в бегство; папа, поддавшийся общей панике, волок за собой Элизабет и Сюзон, а мать вдруг остановилась и раскинула свои слабые руки, чтобы сдержать эту обезумевшую толпу; я уверен, что, если бы папа оттолкнул ее и сам распростер свои большие сильные руки, обезумевшее людское стадо тотчас пошло бы прежним спокойным шагом.

Увы, мой отец и не думал останавливать слепой бег толпы. Он бежал вместе с ней, в давке, стараясь, однако, держаться достойно, и толчки окружающих не могли нарушить этот упрямый ритм. Когда я приступил к нему с наивными расспросами, он ничего не ответил, только усмехнулся. Позже он уже и усмехаться перестал и только вспоминал, с какой-то едкой гордостью, свою трудовую жизнь, полную тягот и лишений. Отец считал, что имеет все права на роскошь, в которой мы жили, хотя сам не желал ею пользоваться. Он работал с утра до ве-

¹ Имеется в виду государственный переворот 1936 года в Испании. — *Здесь и далее примеч. перев.*

чера, а потом сидел допоздна над толстыми гроссбухами, делая какие-то выписки. Гостей он не любил и сам почти никогда не ходил к знакомым. Ел и пил с полным пренебрежением к пище. И похоже, смотрел на свои сигары, на свои бургундские вина и арманьяк 1893 года как на неизбежные отличительные знаки, потребные лишь для душевного комфорта.

«Уравниловка всегда начинается снизу, — объяснял он мне. — Считается, что возвысить массы можно только одним способом — уничтожив элиту». Его голос звучал жестко, непримиримо, хотя в глазах таился какой-то яростный страх. Я помалкивал, но мало-помалу угадывал истину: он с наслаждением, словно ладан, вдыхал порочный запах мира. Ибо это касалось не только дома: этим был отравлен весь город, вся земля. По вечерам в вагонах метро меня угнетал, душил непонятный, тоскливый страх. Мужчины сидели, уронив руки на колени, у женщин были потухшие глаза, и каждый толчок поезда выбрасывал в воздух душные запахи их пота и повседневных забот; потом состав врывался на станцию, отделанную кафельной плиткой и обклеенную пестрыми рекламными плакатами, отражавшими повседневное лицо земли, с ее электрическими жаровнями и банками гусиной печенки, а затем снова нырял в темный туннель.

Мне чудилось, что во всем этом отражена судьба загнанной, угнетенной толпы, и у меня тоскливо сжималось сердце. Я вспоминал фильм, который смотрел вместе с моим другом Марселем: в нем

показывали подземный город, где простые люди жили и умирали во тьме и в страданиях, в то время как надменная правящая верхушка наслаждалась роскошью на белых террасах, под сияющим солнцем; история заканчивалась наводнением, мятежом, оглушительным битьем стеклянных перегонных кубов и — всеобщим ликованием и примирением. И я спрашивал себя: почему же *эти* не восстают? По воскресеньям я часто увозил Марселя в Обервилье или в Пантен, и мы часами бродили там по пустынным улочкам с их газгольдерами, заводскими трубами и почерневшими кирпичными домами. Здесь люди проводили всю свою жизнь. С утра до вечера проделывали одни и те же изнурительные манипуляции. Единственной выходной в неделю. *Ну, они же к этому привыкли!* Если они к этому привыкли, значит дело было совсем плохо.

Когда я заговорил об этом с матерью и произнес слово «революция», она побагровела: «Ты еще ребенок, болтаешь невесть что!» Я было попытался спорить, но она прервала меня, ее трясло от страха. «Это же бессмысленно — стремиться изменить что-нибудь в мире, в жизни; она и без того достаточно плачевна, и лучше уж ничего не трогать!» Она яростно защищала все, что затрагивало ее сердце, ее разум: моего отца, институт брака, капитализм. Потому что зло, по ее словам, таилось вовсе не в политических устоях, а в нас самих, в наших душах. А значит, разумнее всего забиться в уголок, стать совсем незаметным, не рваться изменить мир, а принимать все как есть. Ох уж эта осторожность, это

бессмысленное благоразумие! Как будто таким образом — жить, крепко заперев двери и стиснув зубы, — можно было избежать зла! Тогда как мое молчание само по себе уже протест. «Ты молчишь, значит я иду к тебе на помощь!» Или наоборот: «Ты молчишь, значит я не приду». Любое мое присутствие — уже слово. Так подойди же, подойди во тьме ночи! Решайся! Я обрек тебя на смерть, но мне этого мало! Еще! Я хотел бы просить пощады. Нет, не будет тебе пощады...

О любимая, так неумело любимая! Если бы я успел избежать ловушек осмотрительности, я распахнул бы свою дверь, я раскрыл бы объятия и свое сердце. Но нет, онемевший, скованный, я не шевельну и пальцем, чтобы не позволить убить человека. И придавлю землю всей тяжестью своего неподвижного тела. Ты умираешь. Другие агонизируют на медленном огне, с телами, истерзанными ударами, с кожей, приставшей к костям. Два миллиона пленников дрожат от холода за колючей проволокой. Малышка Роза выбросилась из окна. А еще одного нашли в камере повесившимся на своих кальсонах. Непостижимо! Он ненавидел эту осторожность. Он бурно жестикулировал, гневно смотрел на мать. «Мы изменим мир!» Какая неосторожность! Какая дикая, бессмысленная неосторожность! Он хотел говорить, хотел действовать. И вот результат: Жак лежит на скамье, в своей распахнутой рубашке, с закрытыми глазами, с запекшейся кровью на лице.

Но тогда все казалось таким простым... бедный наивный юноша. Он воздымал руку, сжатую в ку-

лак, он пел вместе с другими: «С Интернационалом восстанет род людской!»

«Долой войну, долой безработицу, долой рабский труд и нищету! Смерть людям злой воли, да воцарится радость на земле!» В мечтах он изничтожал старый мир и возводил из его обломков новую вселенную — так ребенок меняет местами детали своего игрушечного конструктора.

— Ну вот: я вступил в партию! — торжественно объявил я, войдя в мастерскую Марселя.

Он отложил кисть и повернул свой мольберт лицом к стене: все его холсты стояли именно так; посетителям была видна только шершавая обратная сторона картины.

— Ну естественно, — сказал он, — этим и должно было кончиться.

— Если мы будем бездействовать, ты думаешь, мир изменится сам собой? — спросил я.

Марсель покачал головой.

— От этого мира ждать уже нечего. Слишком скверная у него закваска. Лично я предпочитаю создать новый, сверху донизу.

— Но ведь он существует только на твоих холстах.

Марсель загадочно усмехнулся: «Это еще как посмотреть».

И он посмотрел. В те времена он тоже был молод (хотя и полон сомнений) и на что-то еще уповал. Я стучался к нему почти каждый день, и он встречал меня то весело, то равнодушно. Однако встречал. А ведь мог бесцеремонно запереться, и точка.

Литературно-художественное издание / Эдеби-көркем басылым

СИМОНА ДЕ БОВУАР
КРОВЬ ДРУГИХ

Ответственный редактор Кирилл Красник
Редактор Инна Безрукова
Художественный редактор Татьяна Павлова
Технический редактор Мария Антипова
Компьютерная верстка Михаила Львова
Корректоры Полина Дроздовская, Наталья Бобкова

Подписано в печать / Баспаға қол қойылды 29.10.2025.
Формат издания 60 × 88 ¹/₁₆. Печать офсетная. Тираж 2000 экз.
Усл. печ. л. 23,52. Заказ №

Изготовитель: ООО «Издательство АЗБУКА» – обладатель товарного знака АЗБУКА®, 115093, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, пер. Партийный, д. 1, к. 25 Тел. (495) 933-76-01, факс (495) 933-76-19 E-mail: sales@atticus-group.ru	Өндіруші: «АЗБУКА Баспасы» ЖШҚ – АЗБУКА® тауар белгісінің иесі, 115093, Мәскеу, қ. іш. аум. Даниловский муниципалдық округі, Партийный т.ш., 1-үй, к. 25 Тел. (495) 933-76-01, факс (495) 933-76-19 E-mail: sales@atticus-group.ru
Филиал ООО «Издательство АЗБУКА» в г. Санкт-Петербурге, 191024, Санкт-Петербург, Херсонская ул., д. 12–14, лит. А Тел. (812) 327-04-55 E-mail: trade@azbooka.spb.ru www.azbooka.ru	Санкт-Петербург қ., «АЗБУКА Баспасы» ЖШҚ филиалы, 191024, Санкт-Петербург, Херсон көшесі, 12–14 үй, лит. А Тел. (812) 327-04-55 E-mail: trade@azbooka.spb.ru www.azbooka.ru
Отпечатано в России.	Ресейде басып шығарылған.

Техникалық реттеу туралы РФ заңнамасына сай басылымның сәйкестігін
растуу туралы мәліметтерді мына адрес бойынша алуға болады:
<https://certification.atticus-group.ru/>

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)
Ақпараттық өнім белгісі
(29.12.2010 ж. № 436-ФЗ федералдық заң)



Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1, комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru



A-BRM-39351-01-R